Блаженный Ананий

Всеволод Иванов

SHOUT
SHARE
IT

- Всеволод Иванов
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТАЯ
  - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
  - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Всеволод Иванов
Блаженный Ананий

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Воробей опустился на яблоню. Веточка качнулась, и несколько осенних листьев лениво скользнуло на землю. Воробей взглянул боком, напуганно — и полетел. Перед степью, у крапивной канавы, голубели березы. Воробей, все еще испуганно, прорезал строгий их ряд. Из канавы, вслед за ним, порхнула стайка воробьев. Они метались — вверх, вниз. Сердце у Саши замерло, он остановился.

Ночью над садом пронесся ветер, сшиб много яблок. Уже месяц, как в степи, от засухи, над трактом постоянно плыла пелена желтой пыли. Небо было пустынно. Снились облака. Ночью небо походило на тучу, усеянную звездами. Земля окостенела, и упавшие яблоки помялись. И тогда Марья Александровна, мачеха Саши, наняла Ольку, дочь банковского сторожа. Олька хоть и славилась смиренной своей жизнью, но крепкие и легкие глаза ее у всех вызывали беспокойство. Олька сбирала яблоки в большую корзину. Дно корзины было устлано березовыми ветками. В корзине привезли недавно из степных озер карасей. Марья Александровна гордилась своим садом. «Яблоки всегда запахом рыбу пересилят», — сказала она, и они, точно, пересилили.

Саша долго смотрел на березы. Бездействие редко тяготило его. Он не замечал людей, жалующихся на страдания от бездействия. Но в этот нестерпимо яркий день, когда матовые дыбы берез как бы неподвижно стремились к нему, ему подумалось, что хорошо б иметь утомительнейшую работу, после которой спалось бы без конца. Грузные шаги Ольки привлекли его. Влекомая ею корзина шипела по сухой траве. Он наклонился, выбрал яблоко, березовый лист прилип к нему. Помнится, он удивился, что яблоко теплое, и эта теплота как бы мутит его. Он даже хотел положить яблоко обратно. Толстые и короткие пальцы девки, опускавшие в корзину яблоки, тоже почувствовали теплоту яблок. По стволу яблони снизу вверх полз розоватый жучок. Девка медленно (она тоже стыдилась яблок) отклонила свое тело от корзины. Легкий взгляд ее тупо остановился на сашином рте. Затем веки сжали ресницы, выцветшие, чуть-чуть запыленные. Зубы ее обнажились столь стремительно и напряженно, что Саша, перекидывавший из одной руки в другую, уронил яблоко. И Олька, тряся дрожащими руками и, видимо, особенно стыдясь их, кинулась к нему. Она хотела его поцеловать! Сашино лицо улыбнулось растерянно и сонно. И тогда неодолимая плотская злость овладела ею. Побелевшие и оттого еще более короткие

пальцы ее прикрыли ему глаза (или он сам зажмурился), он упал на траву. Девка, упираясь быстро дышущим животом ему в колени, схватила его за подтяжки. И вот это-то движение показалось ему чрезвычайно обидным, Сашенька взвизгнул, рванулся. Девка дышала все сильнее и сильнее, волосы у него слиплись, и он понял, что готов для всего, на всяческие страдания, — он заплакал крупными и обильными слезами. Он не мог остановить своих слез, он дрожал. Но девка поняла его по-своему. Неподвижно, побагровев, глядела она ему в лицо, и щеки ее скривились так, словно она хотела плюнуть ему в глаза… и лишь сухие губы ее не пускали слюну. Саша потянулся было за фуражкой, но, увидав эти губы, опустил руку и побежал.

Сад был неподвижен и сух. Трава колола ноги. У крыльца дома ему встретился отец. Он пришел со службы, а жена сказала: «Яблоки опадают, и для сбора их нанята Олька, надо понаблюдать — не ворует ли». Ипполит Селифантьевич получил жалованье, и в такой превосходный день ему не хотелось думать о людях дурное. Он сказал, что на реке клев, надо спешить на рыбалку. Солнце струилось по волосяной леске, задерживаясь на выцветшей краске пробкового поплавка. Саша схватил отца за руку. Рука слабая, вся в хороших морщинах, давно знакомых, жестянку, приготовленную для червей, держит неудобно и трогательно! Отец стоял перед ним, его отец, с седыми усами и веселым взглядом, твердо знавший, что жизнь пустяки, легкое дело, хотя есть и войны, и сейчас гремят революции. Что ж, на земле много ошибок! Ипполиту Селифантьевичу подумалось, что надо б взять с собой на рыбалку сына, но с сыном нужно разговаривать, а разговаривать, как большинство отцов, он не научился. Он сказал ласковым и уверенным голосом: «Гуляешь? Гуляй, гуляй, да не загуливайся! Ну и благодарение господу, благодарение господу…» И поправил на плече удилище.

И тогда Саша побежал к мачехе. Она чистила для варенья какие-то ягоды, кажется, крыжовник. Полотняные занавеси, наполненные солнцем и зноем, казались розовыми. Медлительное, немного усталое тело мачехи украшало неподвижное крапчатое платье. В длинных мочках — бирюзовые серьги.

Через несколько комнат яростно сияла в кухне огромная изразцовая плита. Тревожная духота наполняла комнаты. Иногда неизвестно откуда порхнувшая прохлада, вся из запахов осенних трав, чуть скрипела дверьми, вздыхала полотном. И тусклые ягоды, и сияющая плита, и розоватое полотно на окнах, как это все запомнилось Саше! Колени мачехи были прикрыты, дабы не испачкать ягодами платья, полотенцем, следы хозяйственного

глаженья горбили полотенце. Взъем ее ноги был напряжен, и оттого колени ее казались еще более круглыми. Когда Саша увидал эти колени и на тугом полотенце синюю миску, он почувствовал такое омерзение к девке, что на мгновение задохнулся.

Марья Александровна поставила миску с ягодами на пол, локти ее прижались к ребрам — Сашенька постоянно внушал ей беспокойство. Она была домовитая, опрятная, любила, чтоб в доме был порядок, вышла она замуж за Ипполита Селифантьевича только два года назад, — и дом сильно встишал. Слезы скользили сквозь редкие и длинные сашины ресницы. И то, что она сразу же, без его слов, поняла его — было и омерзительно и тревожно знать. Она отодвинула миску еще дальше, хотела встать. Саша упал ей головой на колени. Волосы его, все еще слипшиеся, слегка завивались на затылке, кожа на шее нежно голубела. И Марья Александровна с неумелой нежностью подумала, что голова его похожа на подсолнечник. Сравнение это ушло, и тотчас же стало стыдно за его появление. Она протянула руки, уши у Саши были горячие. И она с негодованием почувствовала, что от ребер, ниже к бедрам, идет холодный и мучительный трепет. Она сидела неподвижно. Саша все плакал, и вдруг она подумала, что сейчас слезы его просочатся сквозь платье и коснутся ее тела. Грудь ее отяжелела, и в сосцах она почувствовала легкие уколы. Ей казалось, что она делается все неподвижнее и неподвижнее. Полотняные занавеси мелко дрожали, несколько стрекоз билось в их душном просторе.

Саша поднял лицо, — и у висков и выше к затылку его охватила великолепная боль. Крепкий, пахнущий неизвестными и странными ягодами палец упал к нему на рот и, прыгая, пронесся по его губам. Язык его вяло выпал изо рта. Гортань его оледенела. И тогда женщина ощутила, что ее щеки тоже втягиваются, голени ее дрожат, и ступни ног покрываются густым потом. Это было так страшно, что она была рада, что тело ее заныло тем знакомым тяготением, которое заставляет отверзать губы, как бы крепко ни были они сжаты. Мокрая и тонкая рука коснулась ее плеча. Но вдруг рука эта исчезла, и она увидала, на полу, у своих ног, тонкую сашину спину, зеленую тужурку, латаную на локтях, пола тужурки завернулась, и видна была рваная сатинетовая подкладка… и это было отвратительно и еще более отвратительно было то, что и упал он не от страсти, а поскользнулся: подошва у сапога скользкая, много ходил по осенней траве.

И Марья Александровна, заревев, — грубо, хрипло, — и широко расставляя ноги, кинулась по комнатам! И когда она

врывалась в двери, то опять вокруг нее сияли неудержимо изразцы кухни, и белый нимб плавал над ее волосами.

Саша, трепеща от ужаса, преодолевая слабость в голове и груди, бежал через сад в поле. Олька несла корзину с яблоками. Она уже забыла о нем, и когда он пробежал мимо нее, мокрый и жалкий, она любовно, с теплотой удивилась ему и его характеру. Все происшедшее у нее с ним она объяснила приворотными его глазами. И в тот же вечер, лежа в кустах у реки с парнем, она вспомнила сашины глаза и, клокча и глотая слюну, рассмеялась. Парень тоже с клокотом рассмеялся и привычным движением рванул ее за плечи. Она вяло скользнула к нему на руки.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Неподалеку от городка П., на берегу Волги, в лесу подле Вяземского оврага, находился скит блаженного Анания. Городок недавно был захвачен офицерами, воевавшими за родину и за какого-то, неизвестного всем, генерала, ее спасителя. Солдат в городе селить поопасались, как бы не разграбили, — в городке находился штаб и несколько офицеров, расквартировавшихся в домах, которые попрохладнее. Солдаты разбили палатки в скиту и в оврагах, за скитом. В скиту звенела гармошка, пахло плохой солдатской пищей. Пулеметы, покрытые шинелями, расставленные в беспорядке, были грозны. Мужики, разбогатевшие на чудесах Анания, чертили на воротах мелом кресты, зачем — неизвестно. К старухам, Катерине и Наталье Смородниным, охранявшим покой Анания, пришел солдат, фельдфебель — в громадных охотничьих сапогах и соломенной шляпе. Фельдфебель куражливо требовал, чтоб его пропустили к блаженному, он хочет с ним поговорить: правда ль, у того такая неистребимая плоть, и правда ль, что при любовной тоске наступает после его молитвы облегчение. Старухи, обнажая длинные красные кисти рук, взмахивали возмущенно широкими рукавами.

В садике, где стояла банька блаженного, в которой он пролежал тридцать лет, паслись голуби. Несколько ворохов соломы лежало по углам, должно быть, на них спали богомольцы. Старухи кричали, что: «со страху и со гнева блаженный может умереть, а как им, в войну, жить без святого?» Солдаты должны это понять! Солдаты не понимали. Тогда старухи достали им водки. Солдаты потребовали денег и баб. Какой-то удалец подкрался к окну баньки и засвистал. Свистал он необычайно громко, голуби тяжело носились над садиком. Старое стекло радужного цвета косо отражало яблоню и длинные яблоки на ней. Солдат заглянул. Синий язычек лампадки качался в углу, больше он ничего не разглядел. Он засвистал еще громче и заявил, что без баб он жить не может спокойно. Старухи достали еще самогону и, сев в телегу, помчались в город за девками.

Блаженный попросил пить. Паклей, по всему пазу, полз таракан. Несколько соринок скатилось на одеяло блаженного. Он крикнул еще раз. Люди из сада исчезли, опять голуби хлопали крыльями. Впервые Ананий остался один. Он кинул на пол глиняную кружку, но кружка не разбилась, отпала ручка. Слабый он, сухоногий, сухорукий, кружку не мог разбить! И блаженный опять вспомнил отца.

Отец его, Максим Смирнов, промышлял скотом. В комнатах пахло седлами, конским потом, копыта постоянно глухо стучали во дворе. Отец не уважал своей торговли и своей удачи, он еще служил в казначействе: блеск орлистых пуговиц неудержимо манил его. Но на службе ему не везло, да и некогда было служить. Он многим был недоволен. Женщин он любил испуганной и злобной тоской. Однажды он вернулся домой, пьяный и растроганный, от женщины, которая, не страшась, его выгнала. За чванство. В столовой был накрыт ему ужин. Дочь Елена, грудастая и толстоногая, ожидая его, заснула на диване. Она толкла к ужину перец: ступка и пестик лежали подле дивана. Отец шлепнул ее по ноге, она, не просыпаясь, замычала. Ананий спал в соседней комнате. Сны ему постоянно снились зеленые. Он вспрыгнул от воплей. Голос отца гудел неразборчиво: «лежи, лежи, ты…» Ананий бросился, плача и крестясь, оттаскивать отца, тот его отпихнул ногой. Елена била себя кулаками в голову и, увидав Анания, позвала хрипло: «братец!» Тогда Ананий укусил отца за руку. Отец повернул от стены потное и трезвое лицо, взгляд его упал на ступку. Ананий побежал. Максим укушенной рукой кинул ему вслед ступку. Ананий пал замертво.

С того дня он начал чахнуть, затем у него отнялись ноги. Отец к нему не заходил — «не сдохнет», — говорил он окружающим. Ананий отцу не верил. Иногда Ананию чудились шаги у своей комнаты. Непрестанные боли мучили его, но, пересиливая боль, он старался вслушаться, чтоб, когда отец войдет — успеть подобрать такие слова, которые не обидели бы и в то же время усовестили Максима. Сестра, уже живущая с Максимом, как с мужем, стыдясь, не приходила к Ананию. Когда его расспрашивали, Ананий вначале пытался говорить, вернее, намекать, правду.

На дворе попрежнему ревел скот, хлопали бичи. Слушатели вяло смотрели в окно. Конечно, они думали о болезни Анания другое. Ананий был уверен, что отец страдает, томится. Ананий перестал говорить правду. Сны его были розовые. И однажды он признался, что, одержимый невиданной плотью, он ночью полез к сестре, и бог наказал его, иссушив ему хребет. И тогда сразу все поверили ему. И чем он больше придумывал гнусных подробностей о себе и чем горячей молил бога о прощении, тем больше уважали его люди и больше верили ему. Он восклицал, что и сейчас — весь больной и язвенный — он томится по сестре и желает ее ложа! Люди содрогались. О нем уже говорил весь город. Ананий плакал от обиды, но вскоре ложь стала доставлять ему облегчение, и он, никогда не веривший в бога, теперь поверил — и умилился собой.

Ананий попросил перевезти его в лес, в пустыньку, — его перевезли в баньку подле Вяземского оврага. Здесь в одиночестве прожил он три года, — срок, после которого люди решили, что бог простил ему его грехи. Пищу ему носила и убирала за ним бобылка Марфа из соседней усадьбы, приходившая раз в два дня. Замолив свои грехи, он мог теперь замаливать грехи других, и кроме того людям казалось, что от него исходит как бы испарение плоти, ибо он постоянно призывал к себе сестру свою Елену! Начали появляться богомольцы, плотские страдальцы, мученики любви.

Две толстых и жадных бабы, Наталья и Катерина Смороднины, чуя добычу, отогнали Марфу и навели в избе порядок. Они поставили старинный образ и синюю лампадку. Заговорили о чудесах. Блаженный звал одну Марфой, другую Марией. Они безмолвно подчинялись, мало понимая его. Бабы мечтали о доходах. И точно, они вскоре расчистили лужайку, вырубили деревья и построили пятистенный дом.

Затем появился постоялый двор, лавочник открыл торговлю. Пьяница-священник, лысый и хромой, выгнанный из многих приходов, помогал воздвигать часовню. Между всеми ими был как бы тайный сговор — не говорить блаженному Ананию, что вокруг его тела строится хозяйство. Блаженный может закапризничать, заважничать… И теперь вот, когда старухи уехали в город, у порога его баньки, на приступке, дремал уже сильно постаревший попик. Старухи рассчитали, что солдаты не будут тревожить попа, но на всякий случай двери были украшены огромным замком…

Блаженный смахнул с пакли таракана. Таракан, широко расставив лапы и кувыркаясь, грузно упал на пол. Он лежал неподвижно на спине. «Как и я!» подумал блаженный.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Саша думал — ему нужно умереть. Нет другого выхода! Нельзя избавиться от этого страшного события, которое казалось еще более страшным оттого, что Саша не чувствовал его неожиданным. Но он знал, что преступление его настолько велико, что и в той, будущей жизни, в которую он никогда не верил, но без веры в которую он сегодня не мог существовать, — этот ужас не покинет его, и умереть, то есть уничтожить этот ужас нельзя. По тракту мужики везли снопы: тощие снопы войны. В пыли прошел хромой солдат, сума у него привязана тонкими веревками. Веревки, наверное, больно резали плечи, но какое же горе у солдата, если он идет и идет, не замечая этой боли. И Саша понял: нельзя дольше бродить по степи. Наступил вечер, неожиданно прохладный. Багрово-сизая туча («гроза, предзнаменование» — смятенно подумал Саша) заполняла все небо. Он вернулся домой.

Кухарка грызла на крыльце подсолнухи и вяло похвалила Сашу за то, что успел притти домой до грозы. Дом был гулок и темен. Домашние, повидимому, ушли в гости. Саша искал фуражку, все время страшась и надеясь на встречу с мачехой. На дне фуражки слинявшей золотистой краской было напечатано: «Торговля Н. П. Вязлова». Саша прочел — «Вязлова» — вслух… удивленно. Затем он прошел в кабинет к отцу, зажег лампу, очень яркую, и взломал ящик письменного стола. Ему подумалось, что денег нужно брать столько, сколько необходимо на билет. Лампа слегка чадила, — он увернул огонь. Деньги взял все. Когда он подошел к низенькому и тусклому зданию вокзала, уже накрапывал дождь, и молнии догоняли приближающийся поезд. Саше было сильно нехорошо.

Номера в городке П. были грязные и вонючие: очень сильно в них пахло селедкой. Из окна сашиного номера видны были вокзальные часы с тупыми и медленными стрелками. Если б не Волга, то городок П. был бы почти одинаков с родным сашиным городом. Такой же вокзал; деревянные тротуары; тощий бульвар у реки. Собой Саша, должно быть, был подозрителен, или так полагалось, но появился половой и потребовал уплатить за день вперед. Саша торопливо достал деньги.

Половой моргнул вежливыми глазами и сказал, слегка откидывая назад руки: «ежели ваша дамочка не придет, то многие соглашаются на утешение — других! У меня — компания. Прикажите?» У него были такие веселые и вежливые глаза, что Саша на мгновение поверил, что многое в жизни устраивается

само собой, — и приказал. А сам пока прилег на диван, тоже пахнущий селедкой, — и тотчас же уснул. Он спал долго. Улица была пустынна. Стука в косяк он не слышал. А подле его дверей уже сидели девицы: Сашет и Манжет. Обе они были в высоких, шнурованных до колен ботинках, в платьях раструбами и с повязками на прыщеватых и густо напудренных лбах. Лысый гитарист с дутой тросточкой подмышкой косо стоял подле них. Девки, время от времени поправляли лифчики (высшим шиком считалось, чтоб лифы были туго накрахмалены, чтобы «с хрустом»), говорили с половым о сегодняшней драке на базаре. Двое военных били друг друга пивными бутылками и никак не смогли раскровяниться. И оказалось, что каждый из рассказывавших видел в драке то же, что и прочие, — и это их сильно смешило.

Темнело, когда Саша проснулся. Девицы улыбнулись ему из коридора. Толстые их ляжки, лихо затянутые в кожу, громадные руки ужаснули его. Половой завистливо развел руками: «ну, дескать, и развеселый же ты человек, и легко же жить с вами на свете»; гитарист, хвастаясь тоскливой своей удалью, остановился у притолки, возле грязного жестяного умывальника. Вода тоненькими капельками падала из крана. И Саша понял, что вошла иная, не его жизнь, и как ни противно, но надо жить этой иной жизнью, и хотя ему хотелось чаю, но он потребовал водки.

И вот Саша пил и плясал три дня. Три дня глотал он разбавленный теплой водой отвратительнейшего вкуса спирт. Половой водил его тошнить. Саша плакал, а Манжет целовала его в затылок, Сашет в щеки; они плакали вместе с ним и хвалили его за то, что он понимает женскую душу и не ложится с ними спать, и как им тяжело продаваться (а на самом деле они из-за смятенного лица Саши решили, что паренек заболел дурной болезнью и вот напугался и пьет). Затем появились еще две девки: Лушка и Грунька, тощие и басистые. Они брали грубостью. Сразу же они попросили взаймы денег. Позже девки дрались. Гитарист злорадно свистел. Девки рвали с унылыми лицами друг у друга волосы. Саша пил водку из синей чашки с грязной трещиной. Ему было жалко себя и других.

Он проснулся с колючей болью в горле и в висках. Половой, теперь уже суровый и гладко причесанный, требовал денег таким голосом, по которому можно было понять, что денег у Саши нет. А их, точно, не нашлось. Чемоданчик оказался пустым. «В залог!..» — вырывая у него чемоданчик, крикнул половой. Сашин паспорт валялся у порога.

Саша перебрался на постоялый двор, в соседнюю улицу. Весь день спал он на сальных нарах, а вечером долго сидел у Волги,

подле разрушенного баркаса. Город был темен, и только в реке отражались огни комендатуры, стоявшей на яру. Волга рябилась от мелкого дождя и казалась поэтому еще более широкой и страшной. Баркас пах гнилым деревом. В огнях комендатуры, у самой реки, долго плясал какой-то пьяный. Саша вспомнил, что в детстве няня говорила ему, что несчастье, как ночь, не стуча и не бренча, стоит у каждого окна и каждого угла. Ждет! Слезы показались у него на глазах.

Саша с каждым днем становился все грустнее и грустнее, и сосед его по нарам, безработный приказчик, рябой и коротконогий, бесстыдно каждое утро показывавший тоску свою по женщинам, крикнул ему: «Не ной, не ной! А то иди к братцу Ананию, он таким, как ты, по три рубля николаевских дает. А если получишь, наймешь мне в могарыч, девку на ночь!» И тотчас же Саша вспомнил, что и о братце Анании говорили девки в памятные дни пьянства. Говорили они с умилением и с бесстыдством о том, что братец Ананий тридцать лет неподвижно лежит на своей койке, высохший, желтый, — и молящийся за мир и за тихую любовь. А отец у него иеромонах. И какой!.. От голоса иеромонаха шуршали деревья! Говорили и поговорку Анания, — Саша никак не мог ее припомнить… А приказчик, уже поверивший, что братец даст Саше три рубля, рисовал ему углем на стене дорогу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Телега летела под гору. На поворотах шершавые длинные корни, торчащие из яра, почти хватали за руки. Девки ревели от восторга: они давно не видали природы. Ямщик, веривший, что у этих девок нет ничего искреннего, оглядывался на них злобно. На одном из поворотов девки увидали тощего запыленного человека в зеленой тужурке. Замученные глаза его были им знакомы. Сашет вопрошающе взглянула на Манжет. Та недоуменно повела плечами. Человек крепко держался за корни, песок струился у его ботинок. Яр тускло пылал от солнца. Лицо у него было тоскующее, видимо, он желал пропустить телегу и думать опять о своем. Девки заорали песню. Ямщик оглянулся на них со злостью: «под гору, разнесут!» Девки заорали еще громче.

Показался скит. Солдаты их встретили пляской и гармошкой. Девок повели в дом с верандой. Окна дома выходили в сад, в котором жил блаженный Ананий. В трех чугунах принесли брагу. Солдаты пили молча, с тревогой, стаканами. Старухи уже суетились в саду. Одна из них подметала дорожки. Поп сбирал опавшие яблоки. Девки распахнули окна, расхрабрились. Они чувствовали, что сегодня не миновать драки. Солдаты налили самогоном самовар. Девки потребовали, чтобы стол вытащили на веранду.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Старуха, подпоясанная веревкой, с метлой в руках, рассердилась, когда Саша сказал, что хочет видеть блаженного. Она долго выспрашивала Сашу, из каких он мест, и даже как будто удивлялась, что в такое время кому-то нужен святой, кроме нее. Она повела его длинными сенями. Пахло вениками и мятой. На противоположном конце сеней, у самых дверей в светелку блаженного, на ларе сидела другая старуха. Она напряженно смотрела в сад. И Саша подумал, что садом ему было б гораздо ближе пройти к блаженному, а старуха с метлой провела его другой дорогой.

Блаженный до самой бороды был укутан в грязное стеганое одеяло, засаленное, усыпанное крошками. Несколько мух кружилось над его бородой. Старуха попробовала отогнать мух, но, плюнув, сердито хлопнула дверью и вышла.

— Марфа-Мария, лампадка коптит, — визгливым и несколько капризным голосом заговорил блаженный, — песни орут, блудят, а лампадку лень заправить. Душа моя, парень, как пчела: из тварей последняя по росту, а питает да еще на бога светит.

Саша вспомнил тотчас же ту поговорку, которую ему передавали девки. Блаженный передернул щеками, заросшими неопрятным и редким волосом. Щеки у него были очень подвижные. Саше, едва он сел на табурет, стало тепло (а светелка, точно, была сильно натоплена). Ему захотелось спать.

— Нонче ты первый, молодой человек. Я могу с тобой поговорить и поучить могу. О душе могу поговорить. Моя жизнь, молодой человек, как морковь: тело в земле, а коса — душа — выходит наружу. Всем о душе говорю. Помогает, помогает!.. Ты у папашки деньги слямзил и в картишки проиграл? Нету на дорогу к папашке? Молись богу, проси прощенья! Я таким, как ты, по два и по три рубля даю и лапти. Блудные сыны! Я блудных сынов жалеть обязан… Господи, их благослови.

Блаженный дунул на муху. Она села ему на ухо.

— Зачем пришел?

— Посмотреть на вас пришел, — ответил Саша, и ему в ту минуту думалось, что он действительно пришел посмотреть на блаженного.

— А вот и врешь! В такую погоду пешком ко мне не ходят. Сапоги-то какие, а! Смотреть на меня — извозчики есть. Плачь, плачь, прелюбодей, — вдруг закричал блаженный. В его голосе чувствовалась радость, и Саша смятенно подумал, что сейчас блаженный выкричит все пакостное, что есть в сашиной душе.

Саша вздрогнул. Блаженный стучал маленьким кулачком в стену. — Блудил, угадал!… Я вас всех знаю… С сестрой блудил! Кайся, кайся! Чем сестру смутил? А?..

Кисти рук заныли, томительная слабость овладела сашиным телом. И Саша подумал, что теперь-то нужно высказать свои страдания, станет легче, блаженный успокоится. И вместе с тем пришла мысль о том, какая это страшная и грешная страна, в которой святые, не сомневаясь, упрекают людей в том, что они могут лежать со своими сестрами, как с женами. И как же подобные упреки справедливы, если вокруг блаженного настроены амбары и приходит много кающихся! Как стыдно понять это! И ты, только что начавший жизнь, готов и рад свершить чудовищный поступок!..

— Я сам, молодой человек, в таком грехе обитаю. Парень я был рослый, а скучный. Сестра на лавке спала. Сестра у меня мучительница, тело ей было отпущено господом пылающее: на пять сажен запах от ее греха шел. Я к ней и полез. До того я долго страдал, но одолеть себя не мог… И только отошел от лавки, господь меня в поясницу казнил. Теперь лежу, как Илья Муромец, тридцать лет.

— Тоска, — шопотом сказал Саша.

— А на тридцать третий год придет ко мне бог и скажет: «вставай, Илья, царство спасать надо». А я ему отвечу: «наплевать мне на твое царство, почему ты мне с девкой не дал жить и ног меня лишил? Где теперь в твоем царстве есть подобная девка? Может быть, мне кровь свою суждено выпить? Может быть, тридцать лет под ряд, — едва задремлю, — и вижу, кровь свою пью. Может быть, каждую ночь приходит ко мне сестра и говорит: „вставай, Ананий, весна!“ А я ей: „нету сил, помоги мне“. Она меня за руки берет, поднять пытается — и не может. Я ведь грузный…

Блаженный откинул одеяло. Саша увидал кровавые пролежни, тощие кости, живот в грязных морщинах. Блаженный тупо смотрел в потолок.

— И я скажу ему: „отойди от меня, господи, не встану я! Надсадилась сестра, подымаючи меня, для кого мне теперь вставать — в гробу она. Ради кого я освобожу твое царство? Я к ней мертвым приду и скажу ей: „ты, сестрица, в гробу подвинься и приготовь одеяло“. Вот как я богу отвечу… Лежать, молодой человек, верно, тоскливо, да только не потому, как ты думаешь. Мне бога тоскливо ждать! Место глухое, вокруг дебри, — мимо пройдет бог. А не придет, я сам к нему приду. Девка, сестра-то моя, почему уличным парням досталась?

Саша вспомнил девок, обогнавшись его сегодня в телеге, и

спросил:

— Как ее звали?..

— Советовать тебе, молодой человек, могу. Три рубля тебе дам, лапти дам, веник. Сходи в баньку, пропарься. Мои советы легкие, я легкие советы даю. Оттого и помогает. Легкость всегда помогает… Чаю с тобой попить, что ли? Старуха, Марфа-Мария, дай чаю…

Блаженный вздохнул. Вздох у него был больной, с кашлем. Старуха не появлялась. Сумерки надвигались на сад. Блаженный подсунул к боку подушку: длинную, набитую соломой и похожую на мешок.

— Отец у меня был ласковый. Я отца страсть любил. Добрый был человек и справедливый. Жалоб никто не слышал… А вот могилка, небось, заброшена. И креста, небось, нету. Я перед ним грешен: он меня всегда милостью одарял. Я вот святой… Мне верят, я утешительные слова могу говорить. И помогает. А вот фамилью мою редко спрашивают и даже откуда я родом. Мне обидно, — я без пачпорта, что ли. А фамилия моя умильная: Смирнов…

Блаженный напряженно смотрел на стену. Он, повидимому, пытался вспомнить самое трогательное о своем отце. А Саша подумал, что вспоминает блаженный только для того, чтобы напомнить Саше, какой он отвратительный и преступный сын. Ананий сказал жалобно:

— Сходи ты, молодой человек, если моя молитва поможет, на кладбище, посмотри, как лежит Максим Смирнов. Я старух прошу, прошу, им выйти нельзя: округ пустыня, на кого меня оставишь. Они ведь здесь одни, ветхие. Оградка-то у отца чугунная, а по краям ангелы в золоте. Найдешь…

По бороде ко рту ползла муха. Блаженный устало прикрыл глаза. И Саша подумал, что блаженный действительно верит, что он одинок. В этом лесу одна его каморка. Попрежнему, как и тридцать лет назад, дебри! И выдержит ли он, если ему сказать правду?.. Муха трепетала в уголках рта. Сил у него нет сдунуть муху! Саша со стыдом торопливо вышел из каморки, торопливо получил от старухи Катерины три рубля и лапти.

В саду было темно. Рядом, на веранде плясали солдаты. Полураздетая девка, свисая с перил, стоная, блевала в сад. Саша узнал ее лицо! Не она ли сестра Анания?.. Саша, выронив лапти, рыдая и спотыкаясь, побежал на дорогу вон из скита.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Позже солдатам веранда показалась тесной, они попрыгали в сад. Вышла луна. Солдаты трясли деревья, плясали на плодах. Один, городской, с курчавым белым чубом, стал рубить шашкой ветки. Тогда в солдатах проснулась крестьянская душа: взводный ударил чубастого в зубы. Девки завыли. С деревни сбежались собаки. Солдаты открыли по ним пальбу. Одна из убитых собак моталась у забора, беспрерывно царапая когтями доски. И девки и солдаты хохотали над ней. Голая девка Лушка, в одной нижней рваной юбке, потрясая бархатным платьем, понеслась в пляске среди яблонь. Она свистела, хохотала, взвизгивала. Но солдатам все казалось, что звуков мало. Они ударили в ведра.

Старухи Смороднины караулили блаженного всю ночь, заснули у порога баньки под утро. Солдаты с хохотом указывали на их скорченные и жалкие тела. Лушка, все еще полуголая, совершенно пьяная, пыталась влить в рот старухам самогону. Стакан, мокрый от ее пота, вонючий, скользил из ее рук. Тогда рябой солдат схватил ее в охапку, влил ей в глотку самогон и заявил, что если блаженный хотел всю жизнь девку, — дать ее ему! Глаза у Лушки были осоловелые.

Солдат сбил поленом замок (старухи спали крепко), втащил девку, откинул у блаженного одеяло и, подталкивая девку коленом в бок, положил ее на кровать. Блаженный испуганно завизжал, замахал тонкими ручками. Уже показалось солнце, и солдату почудилось, что у блаженного с пальцев сыплется как бы шелуха. Старухи, проснувшиеся от вопля блаженного, рвались к дверям. Солдаты держали их за юбки, хохоча и стреляя вверх. Рябой солдат схватил блаженного за длинные масляные волосы и положил его на длинные потные груди девки.

В лицо блаженному лился густой запах спиртного перегара. У девки большие зубы, вогнутые, как бы вылизанные! Ананий попытался поднять голову — сил не было. Блаженный чувствовал небывалую слабость. Груди девки у его пылающей щеки твердели. Кожа ее упруга! Одеяло подле ее длинного уха розовело. И вдруг омерзение, владевшее им, исчезло, — запашистое и теплое дыхание окутало его лицо.

Лушка проснулась, почувствовав на груди тяжелый холод. Покачиваясь, чадила лампадка. На полу валялся стакан и бутылка самогону, заткнутая тряпкой. Девка спокойно сняла голову блаженного, сложила ему руки на груди, перекрестилась и сказала: "сухой-то какой!" Затем она налила самогону в стакан. Через дно стакана она увидала мутное пятно: голову на подушке.

И перед тем как выпить, она пошарила: нет ли под матрацем и в подушке денег. "Одни образа", — сказала она. Опять перекрестилась, выпила водку и, накинув на озябшие плечи одеяло, пошла искать старух Смородниных.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Сторож, посмотрев непочтительно Саше на ноги, виляя руками, подвел его к высокому черному памятнику. Деревянную ограду украшали золоченые вензеля. Человечек, запахивая латаное, без пуговиц пальто, смотрел полуоткрытыми тусклыми глазами на дорогу к городу, по которой шли военные обозы. Саша спросил. Человечек не отвечал. Тогда только Саша разглядел, что надпись на черном памятнике сбита, и в камне торчат медные гвозди. Саша переспросил: "Не правда ли, это ведь могила Максима Смирнова?" "Максима Смирнова, — слабо, нервно дыша, сказал человечек, — казначея, торговца скотом, отца блаженного Анания…" Саша удивился вычурности его ответа. Человечек, видимо, сдерживая себя, заговорил:

— Напрасно смеетесь над древностью, милостивый государь! Я уже имею сообщение, что блаженный Ананий умер. Уже теперь надо мной смеяться не будут. Я сегодня над трупом все ему скажу. Меня вызвали сказать ему правду…

— Правду…

— Древность достойна сомнений, но не смеха. Здесь похоронена моя мамаша: Наталья Сухорукова. Я грязен, но не древен, и она не была древна, она умерла пять лет назад. Вы смотрите на эту могилу с сомнением? Правильно, потому что вы не видите на ней надписи. Надпись эту администрация кладбища приказала сбить. Почему же сбита надпись? Потому, что я не мог внести плату за могилу, а сдунуть с лица земли памятник у администрации нету сил, средств, ибо он весит тысячу двести пуд. И вот, чтобы досадить, они сбили надпись. Но сбили, конечно, не они, а вот этот ради насмешки сказанный вами Максим Степанович Смирнов, казначей и скотом промышлявшая дрянь.

— Уверяю вас…

Пафос охватил господина Сухорукова неудержимо:

— Разорил всю семью, по ветру пустил из-за страстей своих исключительно! Не мог сдержать себя Максим и в аду не сдержит. Его черти жгут, а он к бабе хочет! Многим это неизвестно, так как многие забыли Максима. Двадцать лет прошло с его смерти. Сынок знаменит, но и сыну я скажу правду! Меня призвали сказать ему перед гробом правду… Блаженному братцу Ананию! Тридцать лет лежал Ананий на смертном одре, каждый день сбирался умереть, забыть об этом грешном мире. И не умирал. Горел по женщине. Похотью исходил! Все надеялся встану! И если б знал, что не встанет, что суждено лежать ему до самой смерти,

тогда бы на пальцах своих рук пополз бы он к женщине. Десять верст бы прополз. Приполз, а ее нет. Она померла. И тогда бы Ананий, не отдыхая, полз бы дальше, к ее могиле. Могилу разрыл бы зубами. Он верит, что она жива и его ждет. И она, действительно, живая лежала бы в могиле… Вот я Ананию и скажу! Вот обозы пройдут, я и на скит, чтоб не задержали обозы, солдаты. Я скажу: врешь, Ананий, промахнулся, помер.

— Я вчера был…

— Поступайте подобно им. Вот я спущусь в ад — я нарочно грехов больше делаю, вот, например, на бога мне наплевать. Я встречу Максима Смирнова… Я слов здесь приготовил. Максим Смирнов — злодей, убийца. Мамаша моя, Наталья Сергеевна, красотой не отличалась. Но чресла ее были приготовлены господом для многих рождений. Так вот Максим Смирнов, прельстясь ее чреслами и будучи семидесяти лет возрасту, пригласил ее к себе. В сенях, на охрану, поставил приказчиков. И опозорил. Три года плакала мать, запустила торговлю — и скончалась. Я был зол и бессилен, не мог я овладеть хозяйством. За могилу даже не мог заплатить! Вот, смеетесь, но надпись сбили. Мамаша моя без фамилии теперь!.. Всякий может подойти и назвать самую обидную фамилию… Сестра у блаженного Анания была красоты адовой. И ее Максим Смирнов положил на свое ложе. Ребеночка она с ним прижила, и ребенку тому Максим Смирнов хутор приписал… Ребеночек тот теперь муж, подобный мне, и на хуторе постоялый двор содержит… А еще…

Слабое дыхание, пахнущее укропом, носилось у самой сашиной груди. Господин Сухоруков трясся, желая еще рассказать многое. Саша оттолкнул его и побежал к воротам. По крестам порхали синицы. День был высокий и ясный. У ворот Сашу остановил сторож и сказал, попрежнему непочтительно глядя ему на ноги:

— Можете на могилку, опросталась. У нас на ней видный в городе человек молился. Боец, страдатель. Ну, я вас и не пустил.

— Молиться? — спросил утомленно Саша.

Сторож уже шел вперед. И вот Саша увидал оградку с бронзовыми ангелочками по углам. Дерн украшал могилу, цветы. Старушка в длинной пестрой шали с зелеными разводами, держа в руках букетик резеды, сидела в оградке, на скамеечке, недавно окрашенной.

— И вы здесь же молитесь? — спросила она.

Саша посмотрел на нее недоуменно. Старушка начала объяснять: видение было одному человеку, чтобы пришел на эту могилу и помолился. А он был хром, молился горячо, домой ушел отсюда, не хромая. Сапожник он. Теперь для облегчения жизни и

исцеления сюда ходят многие.

— Но знаете ли вы, кто здесь лежит? — спросил Саша.

— Смиренный человек, видимо, лежит, — ответила старушка.

И могила, точно, была смиренна: чугунная распростертая ласточка лежала на кресте, подле чугунного венка. Ласточки сверкали в небе. Что намекало на те ужасы, которые опочили в этой смиренной и опрятной могиле? Кто говорил, что здесь лежит тело прелюбодея, ростовщика, истязателя?.. Сашей овладело отчаяние, — он невольно перекрестился. Он схватил руками золоченого ангела решетки и залепетал: "вот и уйду от них, уйду… к чорту, к чорту…" И здесь голос, который звенел в нем и томил его тело все последние дни, окрикнул его. Он оттолкнул ангела. Бирюзовые сережки порхнули в небо. Перед ним, спуская розовый зонтик, стояла Марья Александровна.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Едва лишь обозы скрылись в городе, господин Сухоруков поспешил в скит. Его никто не звал, — он соврал Саше о зове. Он ожидал пожарища, боя, — скит мирно спал. Подле церквушки была разбита нарядная палатка (даже с окнами из целлулозы). Пред палаткой, на медвежьем ковре, усыпанном белыми блестками нафталина, дремал часовой. Квокча, бродили по траве куры. Многое радовалось веселому дню. У открытой двери в церковь дремали старухи Смороднины — плечо в плечо. Слова исчезли с гневного языка господина Сухорукова! Он поспешил в церковь. Блаженный, длинный и сухой, лежал, прикрытый парчевым покровом. Лицо у него было желтое и — веселое! Свечи чадили очень торжественно. Господин Сухоруков на мгновение растерялся. Ему стыдно было сознаться, что мертвому Ананию он не может сказать обличительных, давно приготовленных своих объяснений. Но сказать необходимо, — ибо он опять пылал гневом. Он выскочил. В огромном двору, подле сада, где жил блаженный Ананий, спали на кошмах солдаты. А в саду топилась банька. Господин Сухоруков пошел на дымок.

Девки окатывали друг другу голову водой из колодца. Они узнали его. "Комар пришел, — закричала лениво Манжет, — сейчас загудит…" Из бани несло раскаленными камнями. Грудастая девка Лушка стирала грязную нижнюю юбку. На голое тело ее было надето бархатное платье и поверх, чтоб не замочить, клеенка со стола. Высокие полсапожки девок были туго зашнурованы и ярко начищены. Господин Сухоруков выкрикнул азартно: "И обличу… будет так жить!.." Лушка отвязала клеенку, вытерла мыльные руки, взяла его за рукав и ввела в предбанник. Она подала ему стакан самогона. У стены лежал смятый ворох веников. Подушки были усыпаны сухими листьями. Господин Сухоруков вздохнул, выпил. Девка прижала его к груди, и когда он затрясся, когда колени его стали сгибаться, и он потянул девку неуверенными руками за юбку, — она, гикнув, ударила его в живот коленом! Господин Сухоруков с воем бился на вениках. Девки хохотали. Лушка вернулась к корыту, взяла свернутую жгутом юбку и стала выжимать ее. "Синьки кабы, и совсем красота", — сказала она. Манжет послушала всхлипывающего Сухорукова и протянула: "Хоть без слов воет, все веселей". Девки опять захохотали. Ворот скрипел, колодец оброс мхом; на каплях, падающих с деревянного ведра, плыли отражения дыма из бани.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Номер был в два окна. Одно полуприкрытое ставней, разбитое, тихо звенело, когда ходили по комнате. Марья Александровна, заикаясь и по обыкновению глядя на свои руки, сказала, что старушка Смолина посоветовала ей поехать к блаженному Ананию. Приехала, было скучно, говорили, что блаженный помер, она пошла помолиться в собор. Здесь знакомая направила ее на святую могилку, благо и кладбище-то было недалеко… И она хотела добавить еще о горе Ипполита Селифантьевича, но вспомнила, как ночью, стараясь не шлепать туфлями, пришел он к ее ложу, — и как она отогнала его. Она умолкла. На жестяном крашеном подносе стоял чайник. Она налила стакан. Чай уже остыл.

Она подошла к окну и раскрыла ставень: "день-то какой", — сказала она тихо. И Марья Александровна и Саша поняли, что теперь только остается высказать ту мысль, которая сейчас их обоих и веселит и умиляет! Преступления, о которых они теперь узнали и которыми наполнена земля, столь велики, что их грех, — мучительный и длинный, — теперь забавен и ничтожен!..

По слегка наклоненному, чем-то похожему на извивающееся тело подоконнику скользнули два клочка бумажки, обрывки писем, которых много написала в эти дни Марья Александровна. Клочки эти, затейливо крутясь, опустились на мостовую. Тихое дыхание реки чуть-чуть поиграло ими и покатило их дальше по булыжнику.